

18+

Елена Ши



# УРАЛЬСКАЯ САГА

Книга 1. Верёвочка

Елена Ши

**Уральская сага.  
Книга 1. Верёвочка**

«Издательские решения»

**Ши Е.**

Уральская сага. Книга 1. Верёвочка / Е. Ши — «Издательские решения»,

Светлана Игоревна Веселова приезжает в родовой дом, чтобы продать его. Но вместо сделки — лыковая верёвка с пятью узлами — память о женщинах своего рода, пять узлов, один из домов в селе Веселовка. Света всю жизнь боялась быть как они. Но верёвка с узлами не даёт уйти, чтобы перестать бояться, надо завязать свой узел — шестой. «Верёвочка» — первая книга Уральской саги о том, как прошлое становится настоящим, а настоящее — будущим. О том, что род — это не кровь. Это те, кого ты держишь в сердце.

© Ши Е.

© Издательские решения

## Содержание

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| УРАЛЬСКАЯ САГА                     | 6  |
| Книга1. Верёвочка                  | 8  |
| Пролог. Таганай смотрит            | 9  |
| Глава 1. Многое повидавшие         | 12 |
| Глава 2. Дом                       | 17 |
| Глава 3. Ложечка-веревочка         | 22 |
| Глава 4. Прабабкины узлы           | 26 |
| Глава 5. Небо, в которое он улетел | 30 |
| Конец ознакомительного фрагмента.  | 34 |

# **Уральская сага**

## **Книга 1. Верёвочка**

**Елена Ши**

© Елена Ши, 2026

ISBN 978-5-0070-9437-5 (т. 1)

ISBN 978-5-0070-9438-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## УРАЛЬСКАЯ САГА







## Книга1. Верёвочка

**Мы не разрываем прошлое — мы завязываем будущее. Прошлый узел держит следующий. Так держится вся верёвочка.**

*Елена Ши*





## Пролог. Таганай смотрит

Светлана Игоревна Веселова стояла у крыльца старого дома в Веселовке — своего родового гнезда. Родное место, которому она никогда не изменяла. Она любила его не просто всей душой — любила так, будто сама земля была её дыханием, а воздух — частью её крови.

Скоро будет полвека, как она живёт в тридцати километрах отсюда: Златоуст, Пушкинский посёлок, девятиэтажка, однушка под самой крышей. Каждое утро, открывая глаза, Светлана видит хребет Таганая сквозь лёгкую вуаль, создающую на окне эффект едва заметной дымки. Эту картину она наблюдает изо дня в день. Ещё недавно ей казалось, что горы — просто горы. А в последнее время она стала ощущать: они смотрят. Смотрят, как она торопится на работу, прячет глаза от собственных мыслей, делает вид, что всё в порядке.

И будто шепчут: «Ты не забыла? Корни-корни-корни...» Что они хотели ей сказать, Светлана не знала. Но этот вопрос в последнее время не давал ей покоя.

Она работала учительницей в начальных классах в школе неподалёку от железнодорожного вокзала — почти у подножия Таганая. За плечами — девять выпусков, около трёх сотен детей. Чужих детей, которые становились её детьми. Своих не случилось. Любви — тоже. Она не жаловалась, не искала сочувствия, просто жила: учила ребят читать, считать, писать, быть людьми. И чего-то постоянно боялась — будто в любой момент может рухнуть то хрупкое равновесие, к которому она так привыкла.

Златоуст — Веселовка. Всего каких-то тридцать километров. На карте — пустяк, тонкая линия, которую можно перечеркнуть ногтем. А для Светланы эти километры два года были как стена — глухая, каменная, непробиваемая.

Мама умерла два года назад. Светлана похоронила её, закрыла дом в Веселовке на тяжёлый амбарный замок, будто хотела запереть вместе с ним и ту часть себя, что жила там, дышала тем воздухом, слушала скрип половиц и шелест листвы за окном. Вернулась в Златоуст, в школу, к своим детям, к урокам, родительским собраниям, к бесконечным тетрадям, которые проверяла до полуночи. Жизнь пошла по накатанной колее — привычной, своей.

А стена между Златоустом и Веселовкой встала не из камня и не из кирпича. Она была из усталости, из чувства вины, из того самого «не сейчас». Каждый раз, стоило только подумать о том, чтобы поехать, сердце сжималось так, что становилось трудно дышать: «А вдруг там всё изменилось? Вдруг дом уже не тот? Я войду, а оттуда на меня посмотрит пустота?»

И ещё было это упрямое, почти детское: если не ездить, значит, не признавать, что её мамы, её Любаши больше нет. Пока дом закрыт, пока в нём не погас свет — всё как будто оставалось на своих местах. А стоило приехать — и пришлось бы окончательно поверить в то, во что верить не хотелось.

Только сейчас, когда пришло время решиться на продажу дома, эта стена начала крошиться. Не рухнула — нет, она всё ещё стояла, тяжёлая, шершавая, цеплялась за края воспоминаний. Но в ней появились трещины, сквозь которые пробивался ветер и запах сосновой смолы.

Светлана стояла у крылечка, сжимая в руке ключ, который два года пролежал в шкатулке рядом с крестиком. Вокруг шумела уральская тайга — вековая, равнодушная, мудрая. Её тёмные стены подступали почти к домишкам, будто хотели обнять село, спрятать его от чужих глаз.

Домишки стояли, прижавшись друг к другу, — старые, покосившиеся, но упрямые, как люди, которые привыкли держаться вместе, чтобы не сломаться под напором ветров и зим.

Светлана скользнула взглядом по сторонам и с тихой горечью заметила: многих из знакомых с детства домишек уже не было. На их месте высились за высокими заборами новомодные — ровные, блестящие, будто вырезанные из глянцевого журнала и случайно поставленные посреди деревенской жизни. Они стояли чуждо и неловко, словно гости, так и не научившиеся чувствовать себя как дома.

Старые жители уходили — кто по своей воле, кто по воле времени. А родственники, не желая возиться с покосившимися крышами и печными трубами, продавали участки под дачи и фермерские угодья городским, тем, кто приезжал сюда за «тишиной» и «воздухом», но не знал, как скрипит половица на крыльце, как пахнет мокрая солома после дождя, как по утрам кричит петух, будто будит не только село, но и саму землю.

Светлана медленно провела ладонью по белёсой доске крыльца, словно хотела запомнить эту шероховатость, эту настоящую, живую неровность, которой не было в гладких стенах новых домов. Ей вдруг стало важно удержать в памяти именно это: не глянец, не новизну, а ту самую упрямую, чуть покосившуюся правду её детства.

И тут её накрыло острое осознание: она ни разу не была здесь одна. Всегда рядом кто-то был — мама, бабушка... А прабабушка ушла, когда Свете едва исполнилось десять. Всегда с ней были её женщины — те, чьи шаги отпечатались в половицах, чьи голоса до сих пор будто звенели в тишине комнат, чьи привычки и жесты незаметно перетекали в неё саму.

Да и куда ей, одинокой, справляться с содержанием дома? Крыша требовала ремонта, печь — перекладки, огород зарастал бурьяном, а зимой становилось страшно подумать, как держать тепло в этих стенах. Учительская зарплата едва покрывала самое необходимое, а сил на борьбу с ветшающим домом уже не оставалось.

Вот и покупатели на протяжении этих двух лет настойчиво торопили со сделкой. Лилия Вадимовна, коллега и вроде как подруга, мечтала обустроить тут дачу: у них родился внук, от города близко — на машине минут сорок, тихое место, воздух чистый, тайга рядом. Влад, муж Лили, машинист локомотива, планировал выйти на пенсию и завести тут пасеку. Светлана слушала их планы и не могла ни согласиться сразу, ни отказать — словно каждое слово о продаже отзывалось тихим стоном.

Она глубоко вдохнула, чувствуя, как воздух, густой от запаха хвои и прелой листвы, царапает горло. И вдруг поняла: она не обязана сегодня всё решить. Не обязана сразу ломать стену. Достаточно просто войти. Посидеть на той же лавке, где когда-то сидели прабабка Вера, бабушка Вера, мама Любаша. Потрогать холодные стены. Позволить себе побыть здесь, в этом месте, где её любили просто за то, что она есть.

Не открывая дом, Светлана оставила сумку-баул на крыльце. И зачем-то стала собирать нехитрый букетик тут же, во дворе: мелкие ромашки, незабудки, кашку, пару колокольчиков,

примешивая былинки-травинки. Постояла, уткнув курносый нос в это ароматное чудо, будто хотела удержать этот запах подольше. И пошла...

## Глава 1. Многое повидавшие

Кладбище стояло на взгорке — будто само село подталкивало его чуть выше, к небу. Наверное, чтобы покойники видели, что тут происходит, и чтобы ветер не давал траве лежать ровно. А ветер здесь гулял всегда: трогал кресты, шуршал сухими листьями, ворошил старые венки, букетики искусственных цветов, а потом вдруг затихал, будто прислушивался к тишине, которая была тут главной хозяйкой.

На самом видном месте, там, где земля уже начинала сползать к оврагу, высился памятник воинам-землякам — серый, строгий, без лишней вычурности. На плите твёрдой рукой мастера были выведены фамилии — их было около тридцати. Среди них, в одном ряду, будто встали плечом к плечу Ванины: Андрон, Борис, Владимир, Григорий, Сергей и Яков. Шесть имён, шесть судеб, начинавшихся в одном доме, за одним столом, где по утрам пахло хлебом и парным молоком. Светлана не знала, кто из них первым шагнул в ту страшную неизвестность и как оборвалась каждая из этих жизней, но знала главное: они были. Они жили здесь — так же неотделимо, как река Ай или старые лиственницы у околицы. Это были её люди: Ванины — отец и братья прабабки, часть самой Веселовки и часть её самой.

Светлана поправила букетик из сухоньких полевых цветов и трав — не для красоты, а чтобы было чем прикрыть тяжесть в груди. Опустившись на одно колено, она положила его к подножию памятника, рядом с жестяной банкой, в которой стояли чуть подвявшие гвоздики.

«А сколько Веселовых! Раз-два-три...» — мысленно считала она, скользя взглядом по плитам. Одиннадцать. «Мы — Веселовы», — часто приговаривала прабабка, будто этим всё объяснялось. В её голосе всегда звучала тихая гордость: выходит, все вокруг — родня, вся деревня из одной крови, из одного корня растёт. Она рассказывала, что село своё имя получило от фамилии первых поселенцев — тех самых Веселовых, что когда-то первыми ступили на эту землю, поставили срубы, прорубили тропы в глухой уральской тайге.

Но Светлане эта версия никогда не нравилась. Слишком уж просто, слишком по-домашнему, будто историю целого села можно уложить в одну привычную фамилию. Ещё подростком она бегала в библиотеку, листала пожелтевшие краеведческие книжонки, подшивки районных газет, вчитывалась в скупые строчки архивных заметок — и нашла другую версию. По той, библиотечной, всё начиналось не с фамилии, а со слова «выселки». Рабочие Златоустовского завода получали земельные наделы, обживали новые участки, ставили дома на отшибе — вот и назывались эти места выселками. Потом «Выселки» мягко перетекли в «Веселовку», а оттуда уже и фамилия пошла — Веселовы. Не родоначальники, а просто люди, осевшие на новом месте, получившие свой надел и свою долю труда и земли.

Светлана даже сейчас будто снова видела ту потёртую, пожелтевшую страницу, тот мелкий шрифт, и чувствовала то самое удовлетворение, когда находишь объяснение, не похожее на семейное предание. Ей тогда казалось важным, что история села — не про одну большую родню, а про труд, про будни, про людей, которые сами себе прокладывали дорогу.

Она чуть улыбнулась своим воспоминаниям, но улыбка тут же растаяла. Теперь обе версии будто переплелись и перестали спорить друг с другом: и род, и труд, и земля — всё здесь было своим, кровным. И даже фамилия Веселова теперь звучала иначе: не как доказательство родства со всеми подряд, а как тихий отголосок и выселок, и первых домов, и тех самых завод-

ских рабочих, что когда-то шагнули в эту тайгу и остались. Вот ведь, и Воронины, и Гордеевы, и Емельяновы, Жаровы...

Предпоследний в списке на памятнике — Щепкин Захар, её прадед. Последний — Щепкин Николай, дед, который не успел отвести в сельсовет свою Верушу и подарить той свою фамилию. Повестка на фронт в начале июля 41-го крест-накрест перечёркнула линию судьбы молодых.

Этот памятник был не про смерть. Он был про то, что село помнит. Про то, что, сколько бы ни менялось вокруг, эти имена останутся. И если кто-то однажды спросит: «А были ли тут свои герои?» — можно просто показать на эти фамилии. И этого будет достаточно.

Светлана провела пальцем по буквам, ощущая каждую выемку, каждую неровность холодного камня. В этом холоде чувствовалась не пустота, а какая-то упрямая твёрдость: «Мы были. Мы не пропали».

...Светлана отодвинула увесистую задвижку и вошла в кладбищенские ворота, потом так же молча задвинула её за собой. Принято тут так, сколько себя помнит: ворота в царство мёртвых всегда должны быть закрыты. Она шла медленно, не торопясь. Не потому, что ноги не несли, а потому, что здесь спешка была чужой, неправильной. Тропинка петляла между оград, обходила старые берёзы, ныряла в тень, потом снова выныривала на солнце.

Вот они — три холмика. Прабабка Надежда, бабка Верочка, мама Любаша. Три имени.

— Я пришла, — сказала Светлана в тишину.

И тишина не осталась пустой. В ней вдруг зазвучали три коротких голоса — не извне, а изнутри, будто память сама подсказала нужные слова. И вместе с ними пришли знакомые вещи, будто каждая женщина оставила для своей девочки по одному предмету.

Голос Надежды, сухой и твёрдый, как зимний ветер, пришёл вместе с образом её варежки — грубой, прокопчённой дымом, с протёртым большим пальцем: «Держи спину прямо, даже когда земля уходит из-под ног. Если ты стоишь — село стоит». Это она, потеряв мужа в тайге, подняла дочь, не дала дому остыть ни на одну зиму. И каждую варежку штопала так, чтобы в ней можно было и дрова колоть, и ребёнка приголубить.

Голос Верочки, тихий, но упрямый, как песня, которую поют шёпотом, чтобы не спугнуть надежду, пришёл вместе с её платком — синим, с ромашками по краю, который она носила даже в самые чёрные дни: «Не гаси свет в окошке. Пусть хоть одна щёлочка светится — люди увидят и поймут: тут живут». Это она в войну берегла каждый уголёк, каждый ломтик хлеба, каждый звук, похожий на шаги с дороги, и платок этот завязывала так туго, будто он должен был удержать её на месте, не дать упасть от усталости.

Голос Любаши, тёплый, как шерстяной платок, накинутый на плечи в промозглый день, пришёл вместе с клубком лыковых нитей, который она всегда держала при себе: «Не торопись судить, пока не узнаешь, как человеку холодно. И не бросай нитку, пока не довяжешь узел». Это она учила Светлану вязать лыковую верёвку, а её — мать, а мать — прабабка. Зачем они вязали эту верёвку? А вот вязали и приговаривали, что крепкая вещь делается не силой, а терпением, и что узел — это обещание: ты его завязал, значит, не предашь.

Светлана чуть наклонила голову, будто прислушиваясь к этим трём голосам сразу. Они не требовали ничего, не упрекали, не звали. Они просто были — как корни, которые держат дерево.

Ветер качнул старую яблоньку, и с ветки упало яблочко — небольшое, неказистое, краснобокое. Оно легло прямо к ногам, будто само попросилось в ладонь. Светлана подняла его, прижала к щеке: «Надо же, на ладошке, что на блюдечке...» Яблоко пахло утром, лесом и чем-то бесконечно родным. В этом запахе было всё: и дом, и сад, и память. Тихий мост между прошлым и настоящим: яблочко от земли Веселовки.

Где-то за спиной хрустнула ветка. Светлана обернулась. На тропинке стоял мальчишка лет десяти-двенадцати.

— Привет, я Жека, — представился паренёк без церемоний.

— Здравствуй, а я Светлана Игоревна, — улыбнулась Светлана и, почему-то смутившись, добавила: — Можно просто Светлана. А ты местный? Живёшь в Веселовке?

— Только на каникулы приезжаем, а так в Челябинске, — скороговоркой отчитался Жека. Потом, помолчав, указал тоненькой рукой в цыпках куда-то вдаль: — А они все там братья? Вон эти Ванины-Веселовы...

Затем перевёл взгляд на три таблички по центру трёх крестов и тихо пролепетал:

— А эти, Веселовы, сёстры?

Три таблички застыли, будто три тихих слова, отлитых в металле и дереве. Два из них — ажурно-стальные, словно сплетённые из времени: кажется, будто не одна сотня лет легла на их узор, осела тёмной патиной в углублениях витойковки. Тонкие линии, протравленные кислотой, ловили свет и прятали его в тених — так умел только местный умелец: превратить сталь в кружево, в невесомый, но вечный рисунок.

Эти кресты мама незадолго до смерти бабушкам справила. И всякий раз, встречаясь с дочерью, благодарила сквозь слёзы: «Свет в окошке, без тебя бы не осилила, не накопила бы с пенсии. Душенька спокойна, вот теперь к родненьким и самой пора». Светлана тогда злилась, сжимала зубы: «Торопишься куда? Восьмидесятилетний юбилей ещё не отгуляли! Не накопила бы она! А на норковую шубу кто мне почти полсуммы отвалил?» И тут же остыв, обнимала маму, прижимая к себе сухонькую фигурку: «Прости, мамуль, спасибо». А в груди холодело, будто ветер с кладбища уже коснулся плеча Любаши.

Над маминым холмиком стоял простой деревянный крест — тот самый, временный, поставленный в день похорон. Светлана всё думала: вот осядет могилка, через год поставлю такой же кружевной, как у бабушек... да так и не собралась. И теперь, глядя на эти два узорчатых стража над прахом родных, она вдруг ощутила, как время толкнулось в грудь — жёстко, без церемоний.

«А жив ли кузнец Ильин, что сталь в кружево превращает?» — пронеслось в голове. Николай Николаевич... Не местный, но Светлана, сколько себя помнит, помнит и старика.



Женился на вдовушке Катерине, маминой закадычной подружке, продавщице сельпо, да и осел в селе, будто сам корнями в землю пошёл. Золотые руки у старика — так все говорили. Будто бы он из потомственных — внук златоустовского купца-ремесленника. Не просто кузнец — наследник ремесла, в котором металл был не материалом, а продолжением руки и памяти.

Вон и столики, и скамеечки, и оградки — всё его рук дело. А крестов и вовсе не счесть, и нет среди них двух одинаковых: каждый чуть-чуть, едва уловимо, отличается от другого — будто в каждом кузнец оставлял частицу чьей-то памяти. Потому и выделяешь сразу могилу дорогого человека среди сотен прочих — по этому тонкому, неповторимому узору, по тому, как свет ложится на витые линии и прячется в тенях.

«Мамочка, дойду до кузнеца, пусть и тебе крестик кружевной смастерит», — беззвучно прошептали губы Светланы. И слова эти повисли в прохладном воздухе, словно просьба, обращённая не к человеку, а к самой памяти, к времени, которое умеет превращать сталь в нежность.

Светлана обвела взглядом кладбищенскую ограду, будто окликнул кто-то. Взгляд остановился на воротах, и она замерла, не в силах сделать ни шага. У самых ворот, будто вынырнув из тонкой дымки, стоял сам Николай Николаевич.

Показалось? Привиделось? А может, время на этом взгорке просто стало тоньше, и сквозь него проступила знакомая фигура — прямая спина, чуть ссутуленные плечи мастера, привыкшие к тяжести молота, седая прядь, упрямо выбившаяся из-под кепки... Он стоял, опершись ладонью о кованую створку ворот — ту самую, что когда-то сам и смастерил: узор на ней сплетался в тугой, но лёгкий орнамент, будто ветер запутался в стальных завитках и остался там навсегда. Смотрел куда-то вдаль, поверх крестов, поверх оградок, будто высматривал в этой тишине что-то своё, давно ушедшее.

И в тот миг Светлане вдруг почудилось, что он знает про её мысли — про мамин холмик, про деревянный крест, про то, как она хотела заказать кружевной, такой же, как у бабушек. Будто он ждал её здесь, чтобы сказать: «Не торопись. Металл помнит. Сделаем как надо».

Она шагнула было вперёд, чтобы окликнуть, да только голос застрял в горле. А когда моргнула — у ворот уже никого не было. Только ветер тронул узор на створке, и металл тихо звякнул, будто отозвался.

Светлана глубоко вздохнула, прижала ладонь к груди, где сердце билось часто и неровно, и прошептала в эту пустую теперь тишину, всё ещё глядя на ворота:

— Вот ведь человек. Не как все. Держит в себе что-то старое, крепкое, будто из другого времени.

От этой мысли ей вдруг стало спокойнее: если уж Николай Николаевич столько лет хранил и ремесло, и память о роде, и свою строгую меру, значит, и её желание — поставить маме кружевной крест, чтобы он был не просто знаком, а продолжением той самой семейной нити, — не пустое, не каприз.

Она медленно опустила руку, которой до этого не позволяла сердечку выпорхнуть из груди, и тихо, будто обращаясь и к ветру, и к тем, кто остался на этом взгорке, прошептала:

— Дойду. Обязательно дойду. Пусть хоть этот узор свяжет всё обратно... хоть чуть-чуть.

Светлана вздрогнула — её вывел из оцепенения взгляд-буравчик Жеки. Мальчишка стоял и молча ждал, не мешал Игоревне думы думать. Светлана улыбнулась — не той улыбкой, которой успокаивают, а настоящей, усталой и тёплой, — и с опозданием ответила на заданный вопрос:

— Однофамильцы. Родня. Семья. Тут в Веселовке все фамилии держатся крепко.

Возвращались вместе: впереди Светлана, за ней — Жека. Ворота были закрыты. Но Жека ведь зашёл после неё, надо же, не оставил их распахнутыми, а молча, без подсказки, подтолкнул створку и накинуд железный язычок на скобу. Откуда знает, городской ведь? Но, видно, чуйка пареньку подсказала: к тишине нужно бережно относиться.

Шли молча. Поравнялись с обелиском. Мальчишка остановился и долго смотрел на имена, будто читал не буквы, а целые истории. Потом тихо, почти шёпотом, сказал:

— Я бы тоже так смог. Чтобы меня помнили.

Светлана не стала говорить про подвиги и славу. Просто сказала:

— Чтобы помнили, не обязательно быть на памятнике. Достаточно не дать забыть тем, кто после тебя.

Жека чуть помедлил, будто примеряя эти слова на себя. И вдруг протянул руку и провёл пальцем по высеченным буквам — точно так же, как до этого делала Светлана. В его жесте не было ни баловства, ни любопытства: он будто хотел впитать все эти имена не глазами, а кожей, чтобы они остались с ним. Камень был холодным даже в такую жару, но Жека не отдернул руку. Он постоял так ещё миг, будто прислушиваясь к чему-то очень далёкому и очень важному.

Ветер снова пробежал по кладбищу, качнул верхушки берёз, и где-то далеко, за лесом, прокричала птица. Светлана стояла, чувствуя, как эта земля, эти камни, эти имена, три голоса с их варежкой, платком и клубком, образ кузнеца Ильина держат её крепче, чем любые стены. А рядом, совсем близко, тихо посапывал Жека — и от этого тишина становилась не глухой, а живой.

## Глава 2. Дом

В самом начале уральской деревушки стоит старый дом — сруб, будто из сказки выросший. Брёвна потемнели от времени, но держатся крепко: видно, что рубили на совесть, в лапу, с умом, не торопясь. Между брёвнами — седой мох, словно седина на висках у бывалого человека: не признак слабости, а знак прожитых лет. Крыша двускатная, тяжёлая, будто плечи под ношей времени, но не прогнулась — стоит ровно, гордо. Широкие карнизы далеко выступают, прячут стены от дождей и метелей: уральская зима не шадит, а этот дом устоял. Окна небольшие, по-старинному скромные; наличники когда-то были резными, и хоть узор местами стёрся, всё ещё угадывается тонкая работа — будто тихий шёпот прежних хозяев, не желающий умолкнуть.

С крыльца открывается привычный, до каждой травинки знакомый вид. Петропавловский храм — невысокий, неброский, будто нарочно не стремившийся перекрикивать собой тишину села и лесов. Купол с простым крестом словно был отполирован уральскими ветрами — без лишней вычурности, без крикливой позолоты, зато с той особой степенностью, какая появляется у вещей, что долго стоят на одном месте и всё принимают: и солнце, и дождь, и снег. Его поставили в 2000-х на месте старого, полуразрушенного клуба, который, по рассказам стариков, в свою очередь, был перекроен из прежней церквушки.

Светлане всегда было чуть смешно и одновременно тепло вспоминать, как прабабушка, едва выйдя на крыльцо, машинально крестилась, глядя в сторону «церковного угла». Да и старики, проходя мимо клуба, по привычке осеняли лбы — будто сами не замечали, что вместо купола теперь над крыльцом висит выцветшая афиша. Даже в бесшабашную бытность, среди весёлых подружек, часто звучало: «В церковном углу сегодня танцы», или: «Киношка в церквухи новая с понедельника...» И в этих словах не было насмешки — лишь упрямая, тихая память, которая не позволяла забыть, чем было это место прежде.

Память жила не в стенах, а в привычках, в полущёпоте, в том, как люди по-прежнему смотрели на этот угол чуть иначе — с уважением, с лёгкой опаской, будто даже в клубных стенах всё ещё витал дух прежнего храма. И когда на его месте начали ставить новую церковь, казалось, что село просто возвращает себе то, что никогда по-настоящему не теряло: не здание, а право называть это место святым.

По правую руку с крыльца, через дорогу — широкую, асфальтированную, недаром считавшуюся центральной, — на взгорке вырисовывался строгий силуэт обелиска, что неизменного часового: Светлана прищурилась и разглядела «Помним. Чтим. Гордимся». За ним — кладбище — не мрачное, а тихое, будто само время остановилось.

Светлана постояла на крыльце, не спеша войти, потопталась на шёрстных досках.

— Вот ведь, осело, — вздохнула она. — И ступеньки вытерлись до блеска: столько ног по ним прошло, столько историй у этого причала начиналось...

Медленно спустилась по шатким ступенькам, наклонилась к булыжнику — тому самому, что сколько она себя помнила, всегда лежал на этом самом месте, будто сторожевой пёс у порога. Он был неказистый, серый, с прожилками, будто прочерченными дождями и ветрами, чуть сколотый с одного края — то ли от удара, то ли от времени, что стачивает даже камни.

Прабабка говорила, что его ещё сам родоначальник притащил с речного берега Ая — мол, тяжёлый, надёжный, «чтобы не унесло». И правда: сколько бурь пронеслось над Веселовкой, сколько весенних паводков шумело в оврагах, а булыжник, будто знал своё место и не соби-рался его покидать.

На нём, как на маленькой каменной ладошке, всегда оставляли ключ — тяжёлый, чугу-нный, с узорчатым язычком, будто отлитым по старинному образцу. Так повелось: если уходишь ненадолго, ключ клали на булыгу — и каждый в селе знал: дом не заперт наглухо, он просто ждёт, когда хозяйка вернётся. Не от воров берегли — от беды: чтоб в случае чего сосед мог войти, вынести что нужно, прикрыть ставни, спасти хоть что-то. Да и сама Светлана столько раз кидалась к этому камню, будто к знакомому лицу: вот он, тут, значит, и дом тут, и всё на месте.

Она схватила ключ, вот ведь, сама бросила по старой привычке давеча, сорвавшись соби-рать полевые цветы.

И теперь, когда она стояла перед дверью, пальцы чуть подрагивали, сжимая холодную тяжесть, словно камень и ключ вместе шептали ей: «Ты дома. Ты снова здесь».

Вставила ключ в большой замок, чувствуя, как зубцы цепляются за внутренности меха-низма, будто не хотят пускать её внутрь, будто хранят дом от чужих и даже от своих, если те пришли без нужной тишины в сердце.

Повернула. Замок щёлкнул — не резко, а как-то устало, по-домашнему, словно вздохнул: «Ну вот, наконец-то...» Скрипнули петли, давно не знавшие масла, но не проржавели — дер-жались, как и всё в этом доме: крепко, по-уральски. Дверь поддалась не сразу — застоялась, будто привыкла стоять на страже и не хотела сдаваться без малого боя. Светлана налегла пле-чом, и створка медленно, неохотно отошла, впуская её в полумрак сеней.

Сенцы встретили тишиной и прохладой. Здесь жара будто не имела власти: толстые стены держали холод, как кувшин держит родниковую воду. Пахло сухим деревом, старой мешкови-ной и чуть-чуть — морозом, словно холод зацепился за стены и не хотел уходить.

Пискнула половица, приветствуя её, как старую подружку. Светлана постояла миг, давая глазам привыкнуть к полумраку, позволяя жару остаться снаружи, и потянула на себя ещё одну скрипучую дверь, переступила высокий порог...

Запах дома ударил сразу — густой, тёплый, сотканный из тысяч слоёв: старого льня-ного масла, ввевшегося в дерево, сушёных грибов и ягод в холщовых мешочках, морщинистых ломтиков яблок, нанизанных на шпагат вдоль печи. Проворно нанизывают женские пальцы прозрачный ломтик на нитку, вяжут узелок, потом другой, и так, казалось, до бесконечности. «Наша печь так бусики любит», — смеялась маленькая Светочка. Прабабка Надя прыскала в кулак: «А то, что девка на выданье».

Печной дым за сто с лишним лет стал неотъемлемой частью стен. И едва уловимо запах крахмала от скатертей, которые давно не вынимали из шкафа, но они всё ещё хранили запах памяти.

Печь — слева, занимая добрую четверть большой комнаты-кухни. Прямо у устья, в «бабьем куте», на гвоздике висит ухват, на другом темнеет бочок чугунка, над лавкой, будто

покачиваясь — пучки трав. У окна, прикрытого от чужих глаз занавеской — льняной, почти прозрачной от времени, с мелкими ромашками по подолу, — стол под вышитым рушником. На нём угадывались птицы: вроде и не павлины (в Веселовке их и не видавали), а скорее петухи, но и это было не точно. Просто птица — рождённая фантазией мастерицы, которая расшивала по своему разумению.

Светлана подошла к окну, аккуратно сдвинула занавеску. Задержала взгляд на саде. Яблоня «Белый налив» стояла посредине — старая, но живая. Ветви её клонились к земле, будто она кланялась всему, что прошло под ней. Светлана вспомнила, как эта яблоня цвела, когда она была девочкой, и как смотрела на неё из этого самого окна, мечтая, что однажды её жизнь станет такой же цветущей. Тогда ей казалось, что это окно — граница между детством и чем-то большим. Теперь она поняла: это окно — граница между прошлым и настоящим.

Она прошла к печи — белой, с чугунной плитой, на которой когда-то стояли чугунки со щами, кашей, картошкой. Провела рукой по прохладной поверхности, и на мгновение ей показалось, что печь ещё хранит то тепло — не от огня, а от рук, которые её топили. Перед глазами встала прабабка Вера: в фартуке, с ухватом, она стояла здесь же и приговаривала что-то негромкое, будто сама печь могла слышать и отвечать.

Половица скрипнула под ногой — и будто сама память отозвалась в этом звуке. Под ногами было не просто дерево, а целая история: по этому полу когда-то бегала она, маленькая, босиком, оставляя лёгкие следы на потемневших от времени досках. В воздухе до сих пор словно витал тот самый запах воскресного утра: терпкий аромат свежесмешанного теста, который кружил голову, пока прабабка хлопотала у печи. А рядом, на лавке, бабушка, не отрывая взгляда от тонкой нити, вышивала яркие подсолнушки — они должны были расцвести по горловинке неказистого бледно-жёлтого льняного платица внучки, чтобы на утреннике в детском саду та была самой нарядной.

Взгляд Светланы непроизвольно скользнул в проём горницы — так уж повелось у них называть самую большую комнату в доме. Проём прикрывала льняная занавеска, вышитая в той же манере, что и рушник: по полю бежали павлины-петухи и солнечные знаки, край был собран в мережку. Занавеска чуть сдвинулась в сторону, качнулась от сквозняка и на миг открыла угол горницы: там на стене висела фотография в резной рамке под стеклом.

«Ну прям, в красном углу, в рядок с иконой красуется», — хмыкнула Светлана.

На фото — Светик в платье с вышитыми подсолнухами, с торчащими пшеничными колосками-косками и испуганными глазищами; она крепко прижимала к себе жёлтого плюшевого медведя — как самую большую любовь, которая вот так, неожиданно нагрянув, может так же внезапно испариться.

Медведя привёз какой-то дядька в галстуке и шляпе. Он увёл маму в сад, и их, как казалось маленькой Светлане, очень долго не было. Если б не медведь, она бы разревелась, бросилась вслед и вернула свою Любашу. Прабабка с бабушкой шептались о своём, искоса поглядывая на внучку. А Света строила рожицы новому другу. И — не поверите — ей казалось, что он подмигнул и даже показал язык. Мама вернулась красная, заплаканная, присела на корточки, обняла дочь. А та видела через её плечо бабушек у окна, крестящих лбы, и шляпу, уплывающую за калитку.

Дверь отозвалась за спиной глубоким стоном — как будто подтверждала, что тоже помнит и шляпу, и смех, и слёзы. Она всё помнит, ничего не забыла.

Светлана прошла через горенку в небольшую комнатку, которая когда-то была её личным пространством, а потом стала маминой спальней. Подошла к дубовому шкафу — старому, помнившему ещё праотцов. Провела рукой по резной дверце: по завиткам веточек и листьев, по шишковатым виноградинам в гроздьях. Мысли вдруг сделались детскими, чудными, будто время на мгновение повернуло назад.

Открыла шкаф не сразу, будто задерживаясь перед встречей с чем-то важным. Внутри пахло старой одеждой, сухими ветками полыни и нафталином. На одной из полок, поверх аккуратной стопки со скатертями и рушниками, лежала лыковая верёвка — грубоватая, с тёплым древесным оттенком, будто сплетённая из солнечных лучей и терпкого запаха леса. На ней было пять узлов.

Светлана осторожно взяла её и села на венский стул у стены. Верёвка лежала на коленях тяжело — будто не пенька, а само время сплело её и завязало эти узлы.

Вспомнилось, как бабушка завязывала на шее внучки верёвочку с крестильным оловянным крестиком — хоть та и сопротивлялась изо всех сил. Это было, когда пятнадцатилетняя Светлана уезжала в город, поступила в педучилище.

— Чтобы дорога да жизнь на чужбине лёгкими были, — сказала бабушка тогда, улыбувшись, но в её глазах стояла та особенная, горьковатая нежность, которая бывает только у женщин, провожающих детей в большую жизнь.

В их маленькой женской семье часто вели разговоры об узлах. Даже мама, обучая её завязывать шнурки на новых ботинках, шептала тихо, почти без слов, как молитву:

— На удачу... на счастье... на память...

Ей эхом вторила трёхлетняя Светланка — хоть и не нравились ей те ботинки, купленные бабушкой в сельпо по блату. Не понимала она тогда этого слова «блат» — оно казалось ей колючим и несуразным, как кактус у мамы на подоконнике в библиотеке. Зато точно знала, что ботинки достались ей только потому, что продавщица, тётка Катерина, была маминой закадычной подружкой с малых лет.

От красных ботинок с чёрными шнурками тянуло запахом кабанчика Фролки — будто к ним пристала та самая горечь опалённой шкурки. Сердце сжималось при одной мысли о нём: дед Иван, сосед, помог забить Фролку на мясо и сало. А девчушка не могла ни глядеть на блюда из поросёнка, ни тем более есть, хоть её и уговаривали со всех сторон. А ещё ей безумно было жаль ботики на кнопках — в них она постоянно видела то себя, то небо с облаками: настоящие зеркала на ножках. Иногда носы ботиков ничего не отражали, лишь мутные разводы да рыжие ошмётки грязи. Тогда Светик плевала на них и лопушком, а когда и ладошкой начищала до блеска.

— Ботики, вздыхала мама, просить стали каши. Вот те раз, никогда не просили, а тут — проголодались.

Тогда, в три года, она ещё не знала, что мамины слова, тихие и простые, соткутся в её жизни в прочную нить. Что эти уроки — не про шнурки, а про умение держать связь, завязывать узелки на память, чтобы что-то важное не ускользнуло, не распалось на части. Материнские пальцы, тёплые и уверенные, водили её маленькую ручку, и петля за петлёй, узелок за узелком рождались на красной, незнакомо пахнущей коже. Светланка морщила нос от запаха, но слушалась — потому что в мамином голосе звучало что-то такое, отчего внутри становилось тихо и важно.

А потом были другие уроки. Другие узлы. Надо было завязать бант на косе перед школой — ровно, красиво. Потом — узелки на мешочках с сушёными травами, чтобы аромат не выветрился. Потом — связать вместе старые письма-треуголки от отца и братьев прабабки Надежды с фронта верёвкой потолще, будто боялась, что они рассыплются в пыль, как и все мужчины их рода. Каждый раз, берясь за верёвку или ленту, она вспоминала мамины слова: «На удачу, на счастье, на память». Они стали заклинанием, оберегом, простым ритуалом, который придавал миру форму.

И вот теперь она держала в руках ту самую лыковую верёвку с пятью узлами. Пальцы сами находили знакомые изгибы, бугорки затянутых когда-то петель. Это была уже не детская рука, а руки взрослой женщины — на каждом узелке свои шрамы и морщины. Но движение пальцев оставалось тем же: бережным, осторожным, полным почтительного внимания.

Она разглядывала узлы один за другим. Каждый был похож на замкнутую дверь в прошлое, за которой жили смех, разговор, взгляд, момент, который больше не повторится.

Светлана встала и подошла к сумке-баулу у порога. Отстегнула ремни, открыла молнию. Сверху, поверх аккуратно сложенных вещей, лежали удобные городские полуботинки — без единого намёка на зеркальный блеск, зато функциональные. На всякий случай: погода на Южном Урале, несмотря на название, больно переменчива.

Она взяла один ботинок и провела рукой по шнурку. Он был завязан крепким, рабочим узлом — чтобы не развязался в пути. Узел на удачу или просто по привычке?

Светлана медленно развязала его, чувствуя, как под пальцами ослабевает натяжение. Потом, тщательно, так, как учила мама много лет назад, начала завязывать заново. Петля, обвод, протягивание. Каждое движение было осознанным, почти торжественным. Шнурок послушно скользил, и на его месте рождался новый узел — не для крепости, а для обещания. Обещания помнить. Обещания вернуться. Обещания заказать у деда Николая ажурный крест на могилку мамы.

Положив ботинок обратно, Светлана закрыла молнию на сумке. Звук получился чётким и окончательным.

«Поскорей избавиться от всего этого!» — мелькнула мысль.

Дня за два-три она разберёт дом, соберёт вещи. Потом вызовет машину с грузчиками. Дорога. Дорога к себе. Или в себя? А может — от себя?

### Глава 3. Ложечка-верёвочка

До вечера Светлана сомнамбулой бродила из угла в угол, постоянно натыкалась на что-то, и любая безделица включала картинку из прошлого. Вещи не упаковывались, а перекочёвывали с привычных мест на непривычные. Периодически Светлану пробивала дрожь, хотя было не холодно. «Так, — решила она, — заварю чаёк с душицей и баночку вареньица малинового из подпола достану».

Она подошла к печи, провела ладонью по тёплому боку, будто ища опоры, и потянулась к полке, где в ряд стояли пузатые чайники. Пальцы сами нашли тот самый — с отбитым носиком, глиняный: бабушка всегда говорила, что в нём чай «правильный заваривается». На гвоздочке чуть покачивался чугунный котелок — в нём когда-то томили молоко, запах топлёного молока заполнил всё пространство.

Спустившись в подпол, Светлана на миг замерла на верхней ступеньке: здесь, внизу, пахло приторно сладко, хотя раньше — землёй, сушёными яблоками и старым деревом. В темноте она нащарила знакомую полку, провела пальцами по шершавым стенкам банок и нашла ту самую — с малиновым вареньем, прикрытую сверху промасленной бумагой и туго перевязанной лыковой верёвкой. Пальцы на секунду задержались на узле.

Поднявшись, Светлана поставила зелёный эмалированный чайник на конфорку старенькой электроплиты «Мечта». Она сама привезла её давным-давно, чтобы мама летом хоть печь не топила, да только Любаша всё равно редко ей пользовалась, привыкла к печному жару, огню, который можно было поправить ухватом. А спирали и рычажки казались ей чужими, неживыми. Сейчас Света повернула ручку-переключатель, и плита тихо загудела, улыбаясь красной точкой-зрачком, — будто узнала старую хозяйку, будто все эти годы ждала, когда на неё снова обратят внимание.

Светлана присела на лавку у печи и уставилась на льняную павлино-петушиную занавеску — она была сдвинута в одну сторону, но она же закрывала ей вход в горницу! Что такое? Будто кто-то только что прошёл сквозь проём и не успел поправить. В узоре из ромбов и птиц Светлане вдруг почудилось движение, словно стёжки на секунду ожили и шепнули: «Мы тут. Дом тут».

Чайник запел тоненькой, дрожащей нотой. Светлана вздрогнула, глубоко вдохнула, расправила плечи и тихо сказала в тишину дома:

— Ну вот. Сейчас запарю душицы, выпью чайку, соберусь, и прогуляюсь до околицы перед сном.

Да не тут-то было! Чаёк попила в прикуску с малиновым... потом, не зная зачем, долго держала во рту чайную серебряную ложечку, вынула, повертела её в пальцах: «Моя Дедаложка».

Вот она шестнадцатилетняя, после первого курса — летние каникулы — родной дом:

— Дедаложка... Это я в детстве так её назвала, да? Какая-то детская выдумка? Детская ложка?..



Бабушка старательно перемешивала крошево и подливала квасок, вдруг хмыкнула, подняла глаза и сказала с хитрой усмешкой:

— Выдумка? Да если б все выдумки столько жили — мы бы с тобой в сказке обитали! Эта ложечка, знаешь, не просто серебро, она — упорная. Сколько её «Ложечкой» ни звали, сколько ни пытались в общий ящик с приборами запихнуть — она всё равно к тебе возвращалась. То под чашкой окажется, то в кармане фартука у меня прилипнет. Прямо как человек: имя ей дали, а она своё выбрала.

Светлана улыбнулась:

— То есть она сама решила быть Дедаложкой?

— А то! — бабка погрозила огромной деревянной ложкой-поварёшкой, будто споря с невидимым оппонентом. — Характер у неё такой: скромная, но принципиальная. Не любит, когда её с другими путают. Да и зачем ей быть просто «ложкой»? Ложек много, а Дедаложка — одна. В ней, понимаешь, не металл важен, а то, что она дорогу к тебе знала, даже когда ты сама её теряла.

— Получается, она меня искала?

— Ну, если хочешь думать так — пусть будет так, — бабушка чуть наклонила голову, — а если не хочешь про чудеса — скажем иначе: мы её берегли. Но знаешь, в чём штука? Она и правда тебя искала и нашла. Заглянула в церквушку, прямиком на крещение твоё и попала, да в ладошку Светульке-крохотульке прыгнула.

— В церковь? Так у нас же её нет...

— Нет, детонька, давно нет, а была. Маменька с тятей там венчались, меня крестили, а уж в тридцатых там собрания устраивать стал, кино крутить по вечерам, танцульки, эх, гуленьки-погуленьки, — бабка смахнула слезинку, а может, соринку в глаз попавшую.

— Это же клуб наш! Церковный угол, церквуха... А меня тогда где крестили? — удивлённо вскинула бровь Светик.

— В Свято-Троицкой, в Златоусте, там в районе Закаменки единственная на весь округ и оставалась на то время. Видишь, как далеко тебя Дедаложка отыскала! — чуть наклонила голову, и в её взгляде мелькнуло что-то мягкое, почти заговорщицкое.

Бабушка довольно крякнула: «Вот ведь как складно с Дедаложкой разрулила!» — взялась за свою ложку-поварёшку и пробормотала:

— Вот и ладно. Теперь и крошечка вкуснее будет. Ведь когда вещь по имени знаешь, она и служит лучше. А Дедаложка эта не просто вещь, она с историей. А мы с мамкой моей, да твоей, эту историю берегли, как огонёк под колпаком, чтоб не задуло.

Она осторожно коснулась пальцем гравировки на черенке, будто гладила что-то очень хрупкое.

— Мы её от времени хранили. Чтобы тебе было за что держаться. Чтобы ты знала: сколько бы дорог ни прошло, сколько бы ветров ни пронеслось, а в этом доме всегда будет что-то твоё, родное. Вот и прижилось имя — Дедаложка. Не про человека оно, а про память. Про то, что из рук в руки передаётся.

Светлана прижала ложечку к ладони, чувствуя, как холод серебра понемногу сменяется теплом. И подумала: это имя не про какую-то девочку-деточку, не про какого-то деда, не про мужскую линию, не про тайны, которые не хочется разгадывать. Дедаложка — она про них. Про тех, кто её растил, кто шептал над ней добрые слова, кто давал эту самую ложечку и говорил: «Ешь, родная, набирайся сил».

Светлана отложила ложку на край стола, где стоял остывший чайник, пустая чашка на блюде — белый горох по красному фарфору, последняя уцелевшая пара из сервиза на шесть персон. Тоже блатного, всё той же Катериной из сельпо матери на сорокалетие преподнесённого. Вскочила, что ужаленная, заметалась из комнаты в комнату. И в голове: «Какая околица?! Какие гуленьки-погуленьки?! Верёвка! Где она, лыковая, с пятью узлами? Куда сунула?»

Да вон же, в окне — прабабка Надя развешивает на неё бельё во дворе — простыни да полотенца, тяжёлые от воды, и они, повисев, станут лёгкими, пахнущими ветром и солнцем. Мокрые края цепляются за шершавые волокна, и сама верёвка держит всё добро бережно, не даёт сорваться, будто знает, как важно, чтобы всё высохло как надо.

Бельё высохнет, побелеет, а лыковая нить потемнеет, пропитанная влагой и потом дня.

«Снять выйти — сухое давно, хрустящее от мороза или тёплое от зноя лета? Какое время года на дворе?» — в голове Светланы происходило что-то невообразимое. Верёвка, уже без белья, натянутая между стволами двух яблонь: висела, потемневшая, потрёпанная ветрами, но упрямая — как сама деревенская жизнь. Вдруг края верёвки сложились в усмешку и прошептали — Светлана разобрала по этим верёвочным губам: «Шкафф — шкафф...»

Так вот же она — лыковая верёвка с пятью узлами. В шкафу, на полке, поверх скатертей в мережку, рушников, льняных полотенец... Сама же её и вернула на место, будто боялась, что исчезнет, растворится.

Светлана достала её, и пальцы сами узнали грубоватую, чуть шершавую текстуру — ту самую, знакомую с детства. И бабушкина присказка завертелась юлой на языке: даже когда на кончике нитки в игольном ушке та завязывала узелок, то приговаривала: «Крепкий узел — крепкая память».

Устало опустившись на краешек кровати, Светлана сжала большой и указательный пальцы вокруг одного из узлов — белого, будто выбеленного временем и солнцем. Сжала так крепко, будто хотела выжать из него хоть каплю прежней уверенности, хоть тень ответа.

Пальцы онемели — не сразу, а постепенно, словно холод пробирался не снаружи, а изнутри, поднимаясь от узла прямо по венам. Ощущение было странным: будто не пальцы потеряли чувствительность, а наоборот — слишком остро почувствовали тяжесть этого узла, всю ту немую тяжесть, что копилась годами. И в этом онемении вдруг проступила странная

ясность: пока пальцы держат узел, пока чувствуют его жёсткие грани, она ещё здесь, она не растворилась в суете, не стёрлась между делами и чужими проблемами.

— Кто ты? — прошептала она не к верёвке даже, а в тишину комнаты, в пустоту, которая теперь казалась слишком просторной. — Кто я теперь, если всё, что было опорой, стало просто вещами на полке?

И тут же сама себе ответила шёпотом, почти стыдясь этой слабости:

— Ты та, кто помнит. Хоть что-то. Хоть узел. Хоть запах лыка. Хоть голос.

Она разжала пальцы, и онемение медленно отступило, уступая место привычному теплу дома. Погладила узел кончиками пальцев — уже не с силой, а бережно, как гладят что-то хрупкое и бесконечно дорогое. И вдруг поняла: узел не должен был дать ответ. Он просто напоминал, что ответы бывают не в словах, а в том, что ты не выбросил, не забыл, не позволил рассыпаться.

Но голос пришёл. Не в уши — в сердце.

— Кто ты? — прошептала она.

## Глава 4. Прабабкины узлы

«Прабабка твоя, Надежда, до замужества — Ванина. Веселовские корни наши. Отец мой — Сергей Лукич Ванин, мастеровой: руки золотые, любую вещь в лад приведёт, хоть топор, хоть упряжь, хоть оконную раму. В Веселовке все его знали: если у кого крыша просела или печь дымит — к Лукичу шли, не сомневались.

Семь деток с Евдокией народили, мал мала меньше — старшие парни, Карпуша-первенец двух лет от роду помер, а пятеро и сам глава семейства — головушки буйны за Родину-матушку сложили. Я — последыш, декабрьская, в тысяча девятьсот шестом народилась. По дому с малых лет приучена: и прясть, и ткать, и в огороде стоять, и хлеб в печь сажать, и книжонку почитать в библиотеке при церкви. Земская школа уже была, почти все ребятишки сельские грамоте учены.

Семнадцать только стукнуло, за Егора Веселова вышла. В этот дом привёл он меня — хозяйкой. Один одинёшенек несколько годков домовничал — мать ещё в родах померла, а он первенец, живенький родился, но, слабенький, не жилец... Ан нет, бабка выходила, а восемь пострелёнышу было, тоже Богу душу отдала. С батей жили, так и не женился Захар, а потом на германской сгинул.

А дом наш ещё в 1864-м прапрадед Егора поставил, первый Веселов, получил надел здесь от горного управления. Для большой семьи строил, добротный, а вышло... Прожили с Егорушкой всего полгода. Мало, а будто целая жизнь уместилась: и смех, и ссоры, и тихие вечера, когда он рассказывал про тропы, про зверей, про то, как тайга уральская себя ведёт, да к себе зовёт.

А тайга-то рядом — будто плечо к плечу с деревней. Не просто лес, а сила дикая, угрюмая, своя. Осенью она багрянцем и охрой полыхала, будто огнём по верхушкам пробегал ветер; зимой застывала в белой тишине, и даже скрип снега казался голосом её, низким, неторопливым. Весной тайга вздыхала: ручьи бежали, ломая лёд, деревья тянулись к свету, а воздух был такой густой и свежий, что дышать становилось и радостно, и больно — будто заново рождаешься. Летом же она становилась непролазной: мох мягкий, как перина, ноги глотал, а между деревьями тень лежала прохладная, густая. Пахло смолой, прелой листвой, грибами, ягодами, и ещё чем-то древним, что словами не скажешь. Там, в этой тишине, человек становился маленьким, но и сильным — если не трусил, не суетился, слушал.

Егор охотником был — не из тех, кто ради забавы стреляет, а из тех, кто с лесом на «ты», кто знает: тайга даёт, но и спрашивает строго. Ушёл на охоту по зиме — и канул. Ни следа, ни крика. Только тишина после. Говорили разное: медведь задрал, или в болоте утонул, или вовсе тайга забрала, потому что не время было ему уходить, а она своё берёт. Я ждала, тяжёлая осталась. Сначала каждый день к околице бегала, прислушивалась к каждому хрусту. Потом — только на рассвете выходила, будто рассвет мог что-то подсказать. Потом — уже не бегала, а стояла, смотрела на тропу, что в лес уходила, и сердце сжималось.

А потом завязала узелок маленький, незаметный. Белой нитью — как снег ноябрьский, в который он ушёл. Не от того, что надежду бросила, а чтобы удержать её, не растерять по ветру. В узелочке — всё: и память, и любовь, и горечь, и клятва тихая: помнить. И с той поры носила его при себе, у самого сердца, чтобы холод тайги не выступил то, что осталось.

В газетах, что изредка доходили до Веселовки, писали про большую беду: в январе умер Ленин, и вся страна будто затаила дыхание. Потом Петроград стал Ленинградом, а в Москве приняли Конституцию — слова эти были далёкими, непонятными, как чужой язык, но чувствовалось: время стало другим. Не просто год сменился — сама земля под ногами будто чуть-чуть сдвинулась».

Светлана перевела дыхание. Перешла ко второму узлу — красному, аккуратному, хоть и потрёпанному. Пальцы дрогнули, будто боялись спугнуть тот голос, что звучал теперь не снаружи, а где-то глубоко внутри, у самого сердца.

«Разродилась, тем самым мартом 1924-го — холодным, знобким, будто сама земля ещё не верила, что зиме пора уходить. Я тогда словно заново родилась вместе с Верочкой: маленькая жизнь, тёплый комочек, который грел даже в самые холодные мартовские ночи. Красная нитка — с подола сарафана, с того, в котором с Егорушкой под венец бушующим маем шла, в церковь во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Крестом церковь, семиглава, на фундаменте каменном, из леса соснового. Так вот — нитка та, первый узел, после белого — как кровь, как жар печи, как рассвет, который всё равно приходит, сколько бы тьмы ни было накануне...»

Светлана провела пальцем по узлу и будто услышала, как снаружи, за околицей, мир перестраивается на новый лад.

«В самой деревне перемены шли тише. Церковь, где мы с Егором венчались, всё ещё стояла, но уже не так уверенно: над воротами кто-то сколотил доску с надписью про «отделение церкви от государства», и старухи крестились, проходя мимо, украдкой, чтобы никто не заметил. В сельсовете теперь сидели новые люди — молодые, в коже да в пиджаках, с папками и списками. Они спрашивали про посевы, про лошадей, про то, кто сколько зерна держит, и слово «налог» звучало теперь чаще, чем раньше звучало «праздник».

В лавке всё ещё пахло дёгтем и мукой, но появились и новые вещи: жестяные банки с консервами, которые никто не брал, потому что не верили, что мясо может жить в железе; газеты, где писали про тракторы и про то, что скоро пахать будут не лошадьми, а машинами. И даже в самой бедности чувствовалось какое-то нетерпение времени: будто деревня, как старая лошадь, всё ещё тянет плуг по привычке, но где-то впереди уже слышен гул мотора.

И посреди этого большого, чужого, шумного мира Верочка лежала в люльке, тихо дышала, и её маленькое тепло было единственным, что оставалось настоящим. Я склонялась над ней и шептала: «Ничего, ничего, мы переждём. Как наши бабки переживали, так и мы»

В этих словах Светлана услышала тот самый тяжёлый, привычный вздох прабабки, дыхание времени, с которым в деревнях встречали любую беду: не отмахивались, не кричали, а просто подставляли плечо. Церковь ещё стояла, но будто съёжилась, стала тише, и венчальный сарафан Надежды, бережно сложенный в сундуке, казался теперь чем-то из другого, ушедшего времени.

«К началу тридцатых деревня раскололась надвое. По одну сторону — старые привычки: прясть лён у окна, ставить тесто на пироги, шептать молитвы. По другую — новые слова, которые звучали всё громче: «колхоз», «учёт», «план». В Веселовке организовали артель, и вскоре почти все дворы стали общими: коровы, лошади, плуги — всё теперь принадлежало не семье,

а колхозу. Я, как и многие, по утрам уходила на работу: сначала сгребать сено, потом возить воду, потом стоять на току, перебирая зерно. Верочку оставляла с соседской бабкой Стешей, и бегала та по двору со старухиними пострелятами, маленькая, серьёзная, в старом платье, перешитом из Егоровой рубахи.

А потом понемногу стало легче. В деревню привезли первые трактора, и мальчишки бежали за ними по полю, будто за чудом. Верочка, которой стукнуло семь, впервые надела перешитые башмачки и пошла учиться писать буквы. Я смотрела ей вслед и улыбалась сквозь усталость: моя девочка будет грамотной, будет знать больше, меня. Верочка прибежала после занятий и взахлёб тараторила о том, как пахнет школа — парта свежей стружкой, доска мелом, а на стене висит портрет дедушки Ленина и карта страны, такой огромной, что Веселовка на ней — крошечная точка, которой и не видно на этой самой карте.

В тридцать третьем зима выдалась лютой, а весна пришла поздно и скупно. Хлеб стал редкостью, и каждый кусочек берегли, как сокровище. Верочка тогда впервые поняла, что такое голод: она молча смотрела, как я крошила в миску последнюю горсть муки, и старалась есть медленно, чтобы растянуть этот скудный обед. Но даже в те дни, когда казалось, что надежда выветрилась из дома вместе с холодом сквозь щели, мы с Верушей находили радость в малом: в тёплом боку коровы, в запахе свежего сена, в том, как солнце наконец пробивалось сквозь тучи и золотило крыши изб.

Тридцатые шли, и деревня привыкала к новому ритму: собрания, планы, отчёты. В домах всё реже говорили о старых временах, зато всё чаще — о будущем, о том, что скоро будет электричество, радио, хорошие дороги. В тридцать седьмом по селу прокатилась волна тревог: кого-то увозили ночью, о ком-то шептались на завалинках, и даже самые разговорчивые теперь говорили тише, оглядываясь по сторонам. Я от чужих разговоров в стороне держаться старалась, единственной заботой Верочка была: чтобы была сыта, здорова, чтобы не знала страха.

К концу десятилетия Веселовка будто повзрослела вместе с Верочкой. А та бегала быстрее мальцов-сорванцов окрестных, помогала по дому, знала все тропинки в лесу. В тридцать девятом в полуразобранной и переделанной церквушке нашей официально клуб открыли, и по вечерам там крутили кино: люди сидели на лавках, затаив дыхание, глядя, как на полотне мелькают чужие города и героические лица. Верочка шибко любила туда бегать, смотрела широко раскрытыми глазами. А я, уставшая после работы, прижимала ладонь к груди и думала, что, может быть, впереди и правда будет лучше.

Но в сороковом году небо над селом будто стало ниже. В клубе всё чаще читали сводки, говорили о границе, о тревожных новостях. Мужчины в селе стали тише, женщины — внимательнее прислушивались к каждому шороху. А шестнадцатилетняя Верочка всё так же бегала с подружками в бор сосновый, по тропинкам, с детства изведанным по ягоды, да грибы, собирала цветы, плела венки и не хотела верить, что лето может закончиться чем-то, кроме каникул и земляники, да по ночам вздыхала по Николке Щепкину, который ей прохода не давал.

22 июня — сорок первый. В тот день всё в Веселовке замерло. На площади у сельсовета собрали людей, и голос из репродуктора, хриплый и чужой, произнёс слова, от которых у меня похолодели руки. Верочка стояла рядом, в простом платье ситцевом, с косой через плечо, и смотрела бездонными, ничего не понимающими глазами. В этот миг я вдруг почувствовала, как тесно переплелись наши судьбы — моя и дочери, моя и деревни, моя и этой огромной, суровой

страны. Притянула Верочку к себе, крепко, до боли, шепнула на ушко: «Держись рядом. Мы всё выдержим».

Светлана опустила руку, пальцы всё ещё сжимали красный узел, будто боялись, что, если разожмут, голос исчезнет. За окном уже стемнело, и только тонкая полоска заката цеплялась за край леса, как отсвет того самого года — тысяча девятьсот сорок первого.

Она тихо вздохнула, будто приняла в себя эту тяжесть, и прошептала:

— Спасибо, Прабаа. Теперь я понимаю: ты не будущее спасала. Ты настоящее держала.

И, не выпуская из пальцев узла, потянулась к лампе, зажгла ночник. Тёплый, неровный свет лёг на столешницу тумбочки с дорожкой в мережку по диагонали, на тёмные углы шкафа, зеркало заморского, где пряталась старая жизнь. Дом снова стал просто домом — не музеем памяти, не хранилищем боли, а местом, где можно сесть, выдохнуть и сказать: «Я здесь. Я помню».

Светлана аккуратно свернула верёвку, уложила обратно на полку, поверх тканей, и прикрыла дверцу шкафа. Не чтобы спрятать, а чтобы сохранить. Чтобы знать: когда снова станет тяжело, она сможет снова открыть этот шкаф, взять эту верёвку и услышать тихий, упрямый голос: «Ты не одна. Ты — часть чего-то большего».

Она постояла ещё немного, прислушиваясь к этой тишине. И пошла ставить чайник — потому что дом требовал не только памяти, но и простых, живых дел. Потому что впереди была ночь, и она должна была быть тёплой.

## Глава 5. Небо, в которое он улетел

Светлана долго лежала с открытыми глазами, прокручивая в памяти прабабкину историю. Сон всё не шёл, и она, вздохнув, поднялась с кровати, прошлепала босыми ногами к сундуку, где хранились старые вещи.

Сундук стоял у стены — тяжёлый, дубовый, с потемневшей от времени древесиной и коваными полосами, будто стягивающими его, чтобы удержать внутри все тайны прошлого. На крышке виднелись едва заметные царапины — следы того, как его таскали с места на место, да вмятина от удара, который так и не смогли затереть.

Светлана присела рядом, провела ладонью по прохладному дереву, будто проверяя: здесь ли оно, настоящее, не растворилось ли в темноте ночи. Повернула ключ — он вошёл туго, будто сундук не хотел открываться, не хотел выпускать наружу то, что хранил столько лет. Замок щёлкнул, и крышка приподнялась с протяжным скрипом, будто вздохнула.

На Светлану пахнуло смесью запахов: старой ткани, сухой лаванды, которую когда-то клали между слоями, чуть горьковатого нафталина и едва уловимого аромата дешёвых духов — тех самых, что бабушка берегла для праздников. Этот запах был таким родным, что у Светланы защипало в глазах.

Она осторожно приподняла верхний слой вещей — старое льняное полотенце, выцветшую косынку, маленький вязаный шарфик. И вот оно — фото, чуть пожелтевшее по краям, с тонкой трещиной в углу, будто кто-то слишком крепко держал его когда-то. На снимке — Николаша — молодой, плечистый, в гимнастёрке, но ещё не военной, а какой-то будничной, будто надел, чтобы выглядеть серьёзнее. Лицо открытое, с лёгкой улыбкой, которая чуть до глаз не доходит — а в глазах что: ожидание, тревога, надежда. Волосы чуть взъерошены, будто ветер только что растрепал их.

На обороте аккуратным, старательным почерком выведено: *«Веруше от Николая. Златоуст. Апрель 1940»*. И рядом, совсем мелко, будто стесняясь, приписано: *«Ты жди, я скоро»*.

А чуть ниже, уже другим, более размашистым почерком, словно в спешке, дописано: *«Прошёл курсы трактористов от сельсовета — теперь механизатором буду, землю пахать да колхозу помогать»*.

А вот сложенная уголком похоронка — тонкий лист бумаги, уже почти истлевший по сгибам, будто выцветший от слёз ещё до того, как попал в руки: по сгибам бумага уже почти истлела, казалось, искрошится невесомым пеплом, стоит лишь дотронуться пальцем. Она лежала так, будто сама собой нашла своё место рядом с обещанием *«я скоро»*. Потом — сухие строки, которые не могли вместить ни его смеха, ни его рук, ни того, как он обещал вернуться.

**НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР  
УПРАВЛЕНИЕ ПО УКОМПЛЕКТОВАНИЮ  
И СЛУЖБЕ ВОЙСК**

**ИЗВЕЩЕНИЕ**



*Настоящим извещаем Вас, гражданка Щепкина Ольга Степановна, проживающая: Челябинская область, село Веселовка, что красноармеец Щепкин Николай Захарович, 1922 года рождения, уроженец Челябинской области, призванный в ряды Красной Армии в начале июля 1941 года, верный воинской присяге, проявив мужество и стойкость в борьбе с немецкими захватчиками, погиб смертью храбрых в октябре 1941 года.*

*Место гибели: район боевых действий на Западном фронте (в полосе обороны одной из стрелковых дивизий, сдерживавших наступление противника на подступах к Москве).*

*Тело погребено в братской могиле в районе боевых действий; точное место захоронения будет сообщено дополнительно по мере поступления сведений от полевого командования.*

*Извещение является основанием для возбуждения ходатайства о назначении пенсии по потере кормильца в органах социального обеспечения.*

Светлана бережно взяла фото, провела пальцем по контурам улыбки, будто хотела согреть этот застывший миг. Николаша на снимке смотрел куда-то вперёд, за кадр, туда, где уже ждала его война. И в этом взгляде было всё: и мальчишеская гордость, и страх, и любовь, которую он так и не успел сказать вслух. Светлана вернулась к кровати и аккуратно положила фото со скорбным уголком на краешек подушки, прошла к старому шкафу, потянула на себя тяжёлую створку — та отозвалась тихим скрипом: «Да сколько уж можешь терзать меня!» — нехотя приоткрывая дверь. Светлана пошарила рукой — вот она, верёвочка, достала, внимательно ощупала узелки, следующие за прабабкиными.

Вернулась к кровати, аккуратно положила верёвочку рядышком на подушку — туда, где уже лежали старое фото и похоронка. словно не хотела нарушить сложившийся порядок этих хрупких святынь, будто любое неловкое движение могло стряхнуть с них последние крупинцы памяти. Пальцы чуть подрагивали, будто боялись спугнуть то, что наконец-то удалось удержать в руках. И, едва коснувшись подушки щекой, сама не заметила, как сон накрыл её тихо, как мамин пуховый платок в холодный вечер.

А потом... потом пришла бабушка. Не в воспоминаниях, не в мыслях — а вот так, по-домашнему, присела на краешек, взяла руку Светланки в свою — тёплую, чуть шершавую от работы, но такую родную. И заговорила, будто сказку сказывала, как когда-то ей, маленькой, сказывала.

— А знаешь, Светланка? Коля, Коленька, Николаша мой — чубатый балагур, на тальяночке уральской как играл, а пел! Так, что сердце замирало, а потом я и село пело вместе с ним, будто само собой. Голос у него был — как ветер над бором: то тихий, то вдруг взметнётся...

Повестку ему выдали 11 июля. Как раз он под пар дальний клин за берёзовой рощей пахал, где земля всегда тяжелей да комковатей. Трактор натужно гудел, плуг вгрызался в пласт, и Николай только успел подумать: «Ещё два круга — и на обед, добегу до яслей, до Веруши, как раз та подопечных своих спать уложит. Хоть в глаза зазнобушки своей взглянуть, не дотерпеть до вечера», как увидел у края поля человека в гимнастёрке. Тот шёл по меже, размахивая бумагой, а рядом семенил председатель, махал руками, будто хотел этим жестом остановить и трактор, и лето, и всё, что ещё могло остаться обычным.

Николаша заглушил мотор, и сразу стало слышно, как звенят кузнечики и как тяжело дышит сам он, будто уже от одной этой тишины становилось не по себе. Председатель подошёл, выдохнул, протянул повестку:

— Вот, Николай Захарович... Родина зовёт. Завтра с утра в Златоуст надо, на сборный пункт.

Он взял листок, пробежал глазами по строчкам — они будто не складывались в слова, а расплзались, как дождевые ручейки по пашне. И только одна мысль билась в висках: «А плуг-то брошен. Клин недопахан».

С минуту он стоял, не зная, куда деть руки: то ли к трактору потянуться, будто можно ещё хоть круг пройти, то ли просто сунуть повестку в карман да до Веруши, до дома ли собирать вещи. Потом медленно свернул бумагу, спрятал в нагрудный карман, поверх сердца, и тихо сказал:

— Сейчас... Только трактор отгоню. Не бросать же посреди поля.

И пошёл к машине, ступая по собственной борозде, будто по какой-то невидимой черте, за которой кончалась привычная жизнь и начиналась другая — та, о которой никто не знал, как она будет выглядеть, и вернётся ли он когда-нибудь, чтобы допахать этот самый клин.

— Мы в августе свадьбу планировали... Да уж, не срослось.

Всю ночь мы с ним тогда в бору нашем гуляли, говорили-говорили, и смеялись, и плакали, и целовались. И в каждом слове, в каждом вздохе — будто весь мир сжимался до одной тропинки, до одного голоса, до одного обещания, что будет вечно. Любовь тогда была не про громкие слова, а про то, как он руку твою держит, будто боится, что ветер унесёт. Про то, как ты ему доверяешь самое хрупкое, самое сокровенное — не потому, что не боишься, а потому, что с ним не страшно. И в этой тишине между шагами, в шелесте хвои, в далёком крике ночной птицы рождалось что-то большее, чем просто чувство: рождалась судьба, сплетённая из двух жизней в одну.

Утром я не плакала, не голосила. У сельсовета стояла, голову склонив на плечо любимого, и выводила чисто, тонко, да звонко:

«Я любила Сокола — красивого, высокого...  
Я любила всей душой, а он в солдатушки ушёл...  
Солдатам какая жизнь, повезло только держись.  
Совочки загрохают, родители заохают.  
Говорят, что горя нет — горе начинается.

У военного стола залётка призывается.  
Ох, залётка дорогой, как могли тебя призвать,  
И куда ж такой молоденький поедешь воевать?»

Не ожидая от себя, Светлана тихонечко затянула следом, будто голос бабушки впелся в её собственный:

— «Девушки, молитесь Бога, чтобы кончилась война,  
А не кончится война, не выйдет замуж ни одна.  
Я не знаю, где убит, я не знаю, где зарыт...»

— А помнишь? — снова прошептала бабушка, и в её голосе не было ни упрёка, ни горечи, только тихая, выстраданная нежность. — Как вечерело, усаживались мы с тобой на крылечке, и затягивала я ту, прощальную, и казалось, всё село подтягивало, а ты колокольчиком вторила: *«Только знаю, что залёточка за родину погиб»*.

А через три месяца похоронку тётке Ольге вручил почтальон — старый Пахом, что ещё до войны по деревне газеты с журналами, да письма разносил, а теперь всё больше скорбные вести. Бежала та до нашей хаты на всю деревню, причитая, голос её над огородами и палисадниками летел, будто крик раненой птицы. Издалече я её услышала — в огороде картоху окучивали, тяпку бросила, навстречу кинулась, сердце колотилось где-то в горле, не давая ни вздохнуть, ни слова вымолвить.

Она мне листок тянет, а сама как белугой завоет, руки трясутся, бумага ходуном ходит. Я взяла, развернула: буквы строгие, безликие строки, выведенные под копирку, не могли вместить ни его смеха — громкого, ни рук его — больших, тёплых, пахнущих машинным маслом, хлебом да той самой тальяночкой, что он всё чинил в сарае; ни того, как он стоял в кузове отъезжающей машины и кричал, будто хотел перекричать и мотор, и войну: «Скоро вернусь, Веруша, с победой, вот увидишь! Вот и сыграем свадьбу — на всё село!»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.